

Леонид ГЕРВИЦ

Эскизы воспоминаний

(Окончание. Начало в № 85.)

Был в моей ранней жизни еще один человек, который, казалось мне, полностью подходил под определение "мой лучший друг". Он жил не в Одессе, а в Москве, но каждое лето гостил у своей бабушки Миры Исааковны Полонской, жившей с нами на одной лестнице.

Но прежде — несколько слов про наш дом. Район, где мне пришлось провести самые лучшие годы своей жизни, — лучший район в Одессе. Что можно представить в старой Одессе более знаменитое, чем Пушкинская улица?.. На одном углу — филармония, на другом — великолепное здание гостиницы "Красная", третий угол этого перекрестка занимал наш дом постройки начала XX века по двум адресам: Полицейская, 17 — Пушкинская, 16. Неповторима атмосфера засаженной платанами улицы-шатра (бывшей Итальянской), которая пролегла от вокзала к Приморскому бульвару. Здесь — музей, там — театр, здесь — филармония, там — особняк Сикара, а в самом начале — бронзовый бюст его знаменитого обитателя. А вот — гостиница бывшая "Бристоль", с балкона которой, по рассказам моего деда Абрама Гуревича, выступал сам Буденный. Он заявил, размахивая кулаком: "К нам поляки протягивают руки, а мы им шею свернем". По Пушкинской, по воспоминаниям деда, целый день шла Первая конная армия со стороны порта на ж/д вокзал. Там солдаты грузились на поезда, отправляясь на войну с белополяками.

Одесса много повидала в XX веке. Но непреходящие творения Мельникова, Боффо, Мартоса, Бернардацци и многих других талантов искусства и архитектуры сделали нетленной ее красу и неподражаемое очарование. Это была моя среда обитания с "младых ногтей".

Здесь я с разбегу влетел в фонтан дельфинов в основании памятника Пушкину — на мою беду, воды в нем не оказалось. И меня с окровавленной головой отнесли в рядом стоявшую больницу водников. Здесь я погнался вдогонку за мячом и лишь по счастью не угодил под колеса троллейбуса. Здесь я с отцом регулярно ходил стричься на угол Пушкинской и Жуковского, у парикмахера, фамилия которого почему-то тоже была Жуковский. Здесь гремели первомайские оркестры и шли колонны, как мне тогда казалось, совсем счастливых людей, и лопались с веселым треском шары, и развевались алые шелковые знамена и мой свежееглаженный пионерский галстук. Здесь, наконец, однажды, шатаюсь празднично по улице, я наткнулся на человека в старой солдатской шинели, сидевшего на низком стульчике и что-то писавшего масляными красками на маленьком холстике, прикрепленном, как я знаю сейчас, на этюднике. Притянутый, как магнитом, я застыл за его спиной и, обвешиваемый незнакомым чарующим запахом, как завороченный, следил, как его маленькая кисточка выписывает купидонов на балконе гостиницы "Красная". Вечернее солнце заливало золотом вычурный фасад гостиницы, синие тени бежали вниз по Полицейской улице и терялись за спуском Кангуна.

Разве мог я тогда думать, что вот эти мазочки масляных красок на горящем фасаде так хорошо знакомого дома окажутся той силой, которая не отпускает меня и сейчас, шестьдесят лет спустя?

Я всегда очень любил бродить по улицам сумеречной Одессы — в этом много поэтического. Например, идти под шатром Пушкинской под сплошной гомон птиц (рискуя быть тут же отмеченным) — это летом. А зимой — в тишине покрытого снегом пространства, как в студии звукозаписи, и думать о чем-то своем.

Мы жили на третьем этаже нашего густонаселенного дома. Квартиру получил мой папа от своей конторы "Югзаготзерно", главным инженером которой он работал. Мои родители порознь, разными путями, не зная друг друга, осенью 1944 года вернулись в только что освобожденную от фашистов Одессу. Мама приехала из Узбекистана, из города Халкабад, где она с семьей коротала нищие, голодные годы эвакуации. Отец приехал из Сибири, из города Омск, где он воз-

главлял областную хлебопродукцию — всю войну кормил фронт хлебом. Огромная Омская область размером с Францию была полностью на его ответственности. И ошибаться в те времена было не менее опасно, чем на полях сражений. В то время как мамин отец, мой будущий дед Абрам Яковлевич Гуревич, служил в пулеметном училище на южной границе, в Кушке, мой другой будущий дед Михаил Григорьевич Гервиц пребывал в "доблестных" рядах узников ГУЛАГа в Нарьян-Маре, на Таймыре, в Сивой Маске, на поселении в Саратове. Оба моих будущих родителя бились в одиночку за жизнь и благополучие своих матерей и близких. Пока не встретили друг друга.

Моя память еще хранит кое-что из послевоенной Одессы. Хорошо помню развалины разбомбленных домов, которые мы, мальчишки, называли "развалки". Страшно тянуло туда, и страшно было среди груд битого кирпича и искореженного железа. Память сохранила безногих, а порой и безруких жителей освобожденного города, отдавших свои конечности за его свободу и вынужденных побираться. На незамысловатых деревянных тележках, снабженных шарикоподшипниковыми колесами, они, не унывая, ловко взбирались на огромной высоты ступеньки одесских громохочущих и всегда полных трамваев. Их могучие полуфигуры в полосатых тельняшках, как будто сошедшие с кадров "Броненосца "Потемкина", сновали по трамвайным половикам с протянутой культей, в которой обычно была зажата просто консервная банка, ухитряясь отталкиваться от земли П-образной деревяшкой. Среди них был один городской сумасшедший, говаривавший при этом: "Граждане, это коробочка от циферблата. Цифры я выбросил, а блин остался — гоните монету". Среди этого любопытного люда была особа совершенно притягательная. Я встречал ее довольно долго и после этих незабываемых лет и всегда почему-то вспоминал портрет Урсулы Мнишек работы Левицкого — уж больно похожи были их седые парики. Она была усата и все дергала головой, как бы сгоняя назойливых мух или пчел. Говорили, что она — бывший врач. Не зная, можно было предположить, что она спешит на вызов, а дергает головой под тяжестью обстоятельств.

Особая статья были одесские дворники, с которыми у нас всегда шли локальные войны, заканчивавшиеся поливом водой из шланга или в крайнем случае шлепаньем по спине ручкой жесткого веника из сухих веток. Дворник соседнего 19-го номера дядя Вася был сухой сгорбленный старик. Его кривые ноги, обутые в высокие сапоги, не знали усталости. Его белый чистый фартук резко контрастировал с замызганным ватником и такой же шапкой-ушанкой, по которой, казалось, прошло стадо слонов. Он был косноязычен и всегда зол, но делал своей метлой большие concentрические заметы с такой аккуратной последовательностью, что было любо-дорого посмотреть, как пыльный, грязный тротуар становится чистым и опрятным. Особенно весело было наблюдать с моего балкона третьего этажа, когда ранним утром первые солнечные лучи неслись со стороны моря, из-за крыш флотского экипажа вверх по Полицейской, как согбенный дядя Вася, зажав концы шланга своими заскорузлыми и подагрическими пальцами, выдает хрустальный веер водяных брызг, в котором играет настоящая радуга. Когда же утомленная за день летним зноем моя улица покрывалась длинными сине-фиолетовыми тенями заката уже с противоположной стороны, дядя Вася сотворял вечерний полив, иногда прерывавшийся толпами футбольных фанатов, шедшими в сторону моря и парка к главному нашему стадиону Черноморского пароходства. Возвращались они часа через два уже не стройными, а разбродными, и не колоннами, а одиночными группками по уже чистой улице. "Дяденьки, какой счет?" — спрашивали мы, еще не мечтая о телевизорах и прямых радиотрансляциях. "Проиграли", — еле повернув голову, вздыхали "дяденьки" и шли дальше, куря "Беломор" и обсуждая, как это Кот (Костя Фукс) промазал со штрафного.

Но вернемся к моему дому. К моменту моего появления на свет родители и бабушка Геня, папина мама, жили в нем поч-

ти два года. Две комнаты в среднем по двадцать квадратных метров, с балконом, половина которого принадлежала семейству плотника Дорофеева, жена которого сидела дома и все время что-то брэнчала на пианино (чаще всего балетную сюиту из "Фауста" Шарля Гуно; мы прожили там почти тринадцать лет, и все это время за стеной звучал один и тот же Гуно). С ними жила сестра жены с исковерканной ступней (сама жена была сильно косоглаза) и дочка Лида, которая (по слухам) занималась древнейшим ремеслом. Ухажеры у дочки менялись по несколько в сезон. Лида работала в припортовом бакалейном магазине. Новый ухажер, фатовый парень Дима, был по-уголовному элегантен, но выпивал. И иногда Лида не впускала его в дом. Однажды ночью мы проснулись от страшного шума — Дима выбил филенку из старинной крепчайшей двери еще времен Александра III и влез в квартиру. Примерно в то же время ночью нас обокрали. Украли именное папино кожаное пальто, которое ему досталось от наркома Микояна в награду за хорошую работу в войну. Папа мой был довольно большим оптимистом, и не помню, чтобы он сильно убивался по этому поводу. Вообще, надо сказать, что жизнь в те времена была нескучная. К нам приходили друзья родителей. Мама играла на пианино, все были относительно молоды и вообще полны ожиданием новых лучших времен. Самое страшное было позади. Не считая, конечно, сталинских репрессий, которые отнюдь не ушли с войной, а стали еще более безумными и большей частью антисемитскими. В нашей семье отцу народов присвоили несколько кличек, все — на идише: а голзен (убийца), Йосл (Иосиф), шуленер (стальной), а мамзер (байстрюк, незаконнорожденный). Разговоры крутились вокруг милиции (на идиш — государство, власть) только с негативным оттенком. И я очень рано понял, что одно дело — дом, другое дело — весь остальной мир, где надо держать язык за зубами.

Парадное нашего старого дома было отделано искусственным мрамором. Стены были на удивление гладкими. Это провоцировало совдеповскую публику рисовать и писать на этих чудесных поверхностях. Попадались и рифмованные перлы. Сбегая вверх и вниз бесчисленное количество раз, я запомнил некоторые из них: "Смерть немецким оккупантам и одесским спекулянтам!", "Смерть одесским девушкам, гулявшим с немцами и румынами!", "Сюня-Писюня" — эта, например, надпись потом нашла своего автора, и я познакомился и с автором, и с объектом, которые были родителями моих юных друзей: мама Славы Кримштейна и папа Лени Полонского.

Однако о доме и его обитателях. Люди там жили разные: бильярдист-маркер из парка имени Шевченко, дядя Вася Захаров и его жена Нина с садово-парковой фамилией Безкленова, уже упоминавшиеся Дорофеевы. Наше крыло дома состояло из не очень заселенных коммуналок, через площадку они были больше: по пять — шесть семей. Дети двадцатых годов разъехались кто куда по стране. Уцелевшие их родители, в основном одиночке, остались. Внуки и внучки наезжали к бабушкам летом: покупаться в море, вдохнуть живительный воздух Одессы. Так, однажды в моей жизни появился мальчик, тоже Леня, из столицы нашей родины. Он был почти мой ровесник, только не апрельский, а майский. Приезжал он на все лето к бабушке и дедушке Полонским, что жили на втором этаже окнами и большим балконом во двор. Дед Полонский носил большую фуражку на грузинский манер и обладал хоршим юмором. Объектом его добрых шуток часто была моя мама, известная красавица и молодая хозяйка нашей небольшой семьи. Мира Исааковна (так звали его жену) вечно суетилась, готовя бесконечные обеды своему молодому дарованию, за которого все лето была в ответе перед "московскими детьми". А "дарование" целыми днями играло этюды Вивальди и Зейтца, чем возбуждало во мне необычайное уважение. Жарким одесским летом, когда все "нормальное" население устремляется к прохладному бодрящему морю, мой новый приятель занимался за плотно закрытыми коричневыми ставнями, пропускавшими лишь золотые узкие полосы, бежавшие по старому паркетному полу к углой лежанке, устланной самодельным одеялом из лоскутов серого

и черного плюша. Изредка мы выходили с ним на балкон и живо комментировали происшедшее во дворе дома № 16 по улице Пушкинской. В центре двора, на старой, плохо ухоженной клумбе, высилась большая развесистая акация. Сквозь ее мохнатые ветви виднелся серый флигель соседнего дома, где в окне третьего этажа иногда появлялась девочка Тала, дочка "Ваньки" Косоковской. Тала была очень серьезной и, как видно, мало интересовалась как музыкой, так и ее исполнителями, к которым я за компанию причислял и себя.

От моего продвинутого приятеля я узнавал всю современную музыкальную жизнь страны и мира. И благодаря этому понимал, почему Генрик Шеринг хуже Яши Хейфеца, а Леня Коган (который был кумиром моего друга Лени) — другой, нежели Давид Ойстрах. Ближе к обеду мадам Полонская, трясая седой головой, неслась из кухни огромную тарелку с неповторимым одесским салатом со словами: "Лени, идите кушать", — отрывая нас от дворовых событий. После веселого обеда, сдобренного шутками и требованиями есть с хлебом, компания отправлялась в парк. На дворе начиналась хрущевская оттепель, на наших глазах памятник Сталину у входа в парк как-то вдруг превратился в Шевченко, сменили только голову с более длинными усами, оставив ту же одежду. По дороге, неспешно плетясь за Лениной бабушкой, мы оставляли позади местного фотографа с "иконостасом" пляжно-парковой тематики на треноге, продавщицу самого лучшего в мире одесского мороженого, от которого нас за уши оттягивала Мира Исааковна, и, наконец, продавца разноцветных попугайчиков. Это был одноногий человек на деревянном протезе, не то бывший матрос, не то солдат, стоявший обычно у края аллеи, ведущей к памятнику Неизвестному Матросу. Он торговал какими-то меттерлинковскими птичками, болтавшими на резиночке вверх и вниз.

Помню, это был обычный комочек не то глины, не то папье-маше с воткнутыми разноцветными перышками. При этом бойкий престарелый моряк говорил примерно такой текст: "Граждане, купите прыгающего попугая. Дети забавляются, папы с мамы в море купаются!" Мы с моим другом-скрипачом слегка застревали, чтобы поглядеть на это яркое зрелище и послушать одесский фольклор, что для московского Лени всегда было крайне забавно, пока его бабушка Мира Исааковна, трясая пышными сединами, не прикрикивала на нас: "Ну, Лени, ну, идемте уже! Неужели вы думаете, что я куплю вам эту грязь?!" И будущие артисты послушно плелись в хвосте мадам Полонской по направлению к Ланжерону, обсуждая по дороге одесскую лексику, музыкальные новости, Яшу Хейфеца и Иегуди Менухина, футбольные события, конечно, Льва Яшина, которого московская братва называла "Лев Иванович Винимай", и многое другое, абсолютно необходимое развитому молодому человеку середины пятидесятых годов.

Минуя холм с Александровской колонной, мы вливались в счастливую толпу отдыхающих и текли вместе с ней к морю. Оно появлялось, всегда предваряемое неповторимым гомоном пляжного гула, дальними криками и шумом и шипением прибоя. Оловянные блики солнца веселой рябью неодолимо влекли погрузиться в прохладу бирюзовой воды. Эти ранние впечатления остались со мной навсегда и приходят всегда на помощь в грустные минуты, коих хватает на большом жизненном пути.

Через полсотни лет в Америке я ловил те же блики, приближаясь к берегу Атлантики. Эти искорки света на морской глади как бы слали мне привет из моего детства, такого далекого и такого, в сущности, близкого. Я понял, что всю жизнь, убегая от себя, ища новых ощущений и идей, я продолжал любить те искорки света на бирюзовой воде. Проводя лучшие часы с кистью на берегу океана, я как бы заклинанием искусства возвращался в блистательность далекого очарования.

Среди не особо многочисленных родственников нашей семьи и друзей родителей, несколько определенно оставили след не только в моей памяти,

но и в жизни вообще. Так, например, с приезда к нам в гости папиного кузена Левы из Кишинева началась моя карьера художника. Дядя Лева Перельмутер наезжал в Одессу редко на всякого рода учительские конференции. Он работал директором какой-то школы или техникума и имел в жене польскую красавицу, но не Ингу Зайонц, а пышнотелую и белокожую Аделю. Мне было около десяти лет, когда в один из приездов к нам он пристыдил моих родителей за бездействие ввиду моих явных способностей к рисованию и лепке — вся наша квартира была уставлена пластилиновыми фигурками зверей, птиц, людей и на туморах из разных фруктов, кои я изготовлял непрестанно. Так родилась идея отдать меня в художественную школу при Одесском художественном училище, находившемся на улице Советской Армии. Дядя Лева был полковник в отставке, орденосец, прошедший всю войну, обладавший твердым характером и большим еврейским носом и как-то давший по морде какому-то антисемиту за юдофобские шуточки, за что имел неприятности по службе. Но его твердость послужила, несомненно, толчком к искусству в моей судьбе.

Мама, будучи натурой художественной и в высшей степени впечатлительной, всегда служила тем горючим, которое питало мой разгорающийся интерес к искусству. Отец, наоборот, — инженер и практик, совершенно не обладал музыкальным слухом и не умел рисовать ничего, кроме своих штурцов и шестеренок. Но именно он оказался тем двигателем, который запустил мою творческую машину в ее дальний путь. Он всегда повторял, что его мечта — чтобы мне не приходилось ходить каждый день "в присутствии", чтобы жизнь моя была вольной, а не с девяти до шести. В конечном счете, он добился, чего хотел, но зато я стал работать над собой вообще без выходных, ни днем, ни ночью не давая роздыха себе из-за своей сверхтребовательности и жажды совершенствования, замешанной на необычайном честолюбии. Если я чего и добился в своем искусстве, то только благодаря упрямству и самоограничению, ибо таланта, как мне казалось всегда, мне явно не хватало. То есть, конечно, кое-что было, этого не отнимешь. Но среди моих сверстников попадались и более проникшие в сущность рисунка и живописи. И мое эго всегда старалось ликвидировать эту дистанцию путем напряженной мысли и работы.

Другим "выдающимся", с моей точки зрения, родственником был папин троюродный брат Борис Яковлевич Дерман. Он был веселым тучным человеком, одетым в умопомрачительный мундир морского офицера, с золотыми нашивками на широких рукавах. Работал он главным диспетчером морского пароходства. И на Черном море, думаю, вряд ли был кто-то, кто не знал бы Дермана. Войну он провел на флотах и в конце был направлен советником морского атташе в Югославию, откуда вместе со своей маленькой доброй женой тетей Соней и дочкой Лорой, которая была старше меня на семь лет, вернулся в родную Одессу. Правда, все они были родом из Славуты, но Одессу все равно считали "своим" городом. Я люблю бывать у них в особом доме для работников пароходства.

В еще "домашний" период любовь этой семьи ко мне была безграничной. Они не могли отказать себе в удовольствии пообщаться со златокудрым парнишкой и нередко являлись запоздало, чтобы посмотреть, как я в своей голубой пижамке скачу на кровати и выкомариваю им на потеху всякие штуки: подпрыгиваю на матрасе, читаю стихи Ангии Барто и Самуила Маршака, коими меня досыта "питала" бабушка и кои застряли в моей памяти по сей день.

Надо сказать, что в детстве меня часто дергали взрослые и требовали всяких выступлений. Однажды дядя Боря Дерман организовал поездку по Крымско-Кавказской линии (потом делал это не раз и не два) Мне было лет этак пять, и человек я был серьезный. Прогуливаясь по палубе теплохода "Победа", бывшего теплохода Гитлера, я был остановлен группой отдыхающих советских граждан, прослышавших про мои способности петь. Толпа обступила меня и, прижав к шпангоутам, выставила ультиматум: или я им пою, или они забирают мою маму. Помню, как слезы душили меня, когда я был вынужден затянуть "Летят перелетные птицы" и таким образом спасти маму и высвободиться от стальных

поручней, покрытых белой эмалевой краской, за которыми далеко внизу на бегала и пеннела бутылочно-зеленая черноморская волна.

Но самым моим любимым и уважаемым был мамин брат Миша, Мишенька, как его звала вся наша семья. Хотя он был строителем, окончившим технический вуз, но его натура была переполнена разными талантами. Например, он никогда не учился играть на рояле, но подбирал и бегло исполнял что угодно из популярной музыки, и не только на пианино, но и на аккордеоне. Мне, внуку и сыну пианисток, до сих пор непонятно, как можно так выучиться без посторонней помощи. Мишенька так же профессионально выбивал чечетку, которая была очень популярна после прошумевших в Одессе голливудских фильмов "Серенада Солнечной долины" и "Тетка Чарльз". Он потешал всю семью и свою молодую жену Любу, выбивая в квартире деда Абраши и бабушки Мили бисерный степ с таким пристрастием и оттяжкой, что, несмотря на могучие перекрытия старинного дома и отменный паркет, его неблагодарными слушателями становились и нижние соседи. Гораздо позже я узнал, что меня, укороченного на седьмой день моего рождения, он всю ночь напролет таскал на руках плачущего от боли и обиды. Миша никогда не приезжал к нам в город, чтоб не оставить хоть какую-нибудь память о себе (а колесил он много по стране: жил в Вологде, на целине, в Караганде, в Киеве).

Так получилось, что он был единственным, кто сопровождал меня в Америку. Занимая высокий пост в Украине, он вырвался на два дня из крымской командировки, чтобы устроить и проконтролировать наш отъезд. Говорят, сыновья часто похожи на братьев своих матерей, это, наверное, в основном правда. Если генетика имеет место по определению, то и пример старшего брата, коим для меня всегда был Мишенька, тоже немало значит.

Сейчас, на склоне лет, оглядываясь на прошедшие годы и пытаясь подвергнуть систематизации свои впечатления и прошедшую жизнь, прихожу к страшному выводу о непрерывной текучести повседневности и отсутствия каких-либо представлений у живущих о периодичности их жизни. Быть может, веди я когда-либо дневник, эта истина дошла бы до меня и ранее. Но, с другой стороны, быть может, отсея события и лиц, проверенных временем, сослужил добрую службу. Дневник, хотя и наполнен обилием деталей, все же не так "отжат", как воспоминания.

Культурная жизнь Одессы периода моего раннего детства была весьма разнообразна. Мы с родителями ходили в театр, в знаменитую Одесскую оперу, правда, не на оперу, о которой было известно, что она слаба, а на балет. Так, я смотрел Глиэра "Медный всадник", "Лебединое озеро", "Шурале" ("Али Батыр")... На этот же период приходится начало моего собирания музыкальных пластинок. После очередной болезни дед Миша Гервиц принес мне набор пластинок с мелодиями и песнями из только вышедшей в свет оперетты Дунаевского "Белая акация".

А как было шумно и радостно в городе, а значит, и у нас на улице Розы Люксембург, когда приходила домой китобойная флотилия "Слава" после годового промысла в Антарктике. Толпы на этот раз уже не мужчин (как на футбол), а женщин с детьми, колясками, цветами шли к морю, к порту встречать своих отцов, мужей и братьев. Китобои были одними из самых уважаемых людей в городе. Слова "у нее муж китобой" или "у нее муж плавает" уже без всяких сомнений говорили, что это "богатые" люди. Богатые, конечно, в нашем тогдашнем, советском представлении. Ну, что это значило: что у них, наверное, квартиры от пароходства (а что в Одессе есть богаче или важнее пароходства?), ну, наверняка есть дача где-нибудь на Фонтанах или в Аркадии; как правило, в те времена с частными машинами еще было туго ("Жигули" появились лишь в семидесятые годы, а "Победы" были очень дорогие); жены и дети тех, кто плавал, отличались хорошей заграничной одеждой. В общем и в целом город был в "прикиде". Те, кто не "плавал", ухитрялись "ловить большую рыбу" на берегу. Но для этого нужны были особая сообразительность и желание рисковать. ОБХСС не дремал, и много неистовых одесских дельцов лишились свободы и "вольного одесского ветра" в погоне за шикарной жизнью в те годы. Мой отец, когда дед вернулся из ГУЛАГа после десяти лет невинной отсидки, вместе с ним

впрягся в мелкий, как теперь говорят, бизнес, открыл на Пересыпи молочную. Помню неповторимый запах свежего молока, творога и сметаны, когда я был однажды приведен в цех и мне был показан таинственный аппарат под названием "сепаратор". Желание держать семью "в порядке" толкало отца брать сметную работу на дом, работать в проектных организациях. Он был хорошим инженером, и работа к нему шла.

Иногда я засыпал, а он все сидел над своими сметами. Бывало, я не мог решить задачу по арифметике. А на следующее утро она была уже решена и объяснена им, а он до работы с раннего утра опять сидел за сметами.

Воспоминания этого времени относятся к Пушкинской улице, где мы жили первые двенадцать лет моей жизни. Мне было восемь с половиной лет, когда в моей жизни появилась сестра Майя. Начался "майский" период. Когда маму увозили в родилку, я, конечно, в очередной раз болел. Лежа в кровати, смотрел на фронтон дома напротив: над его окнами геральдические карнизы в виде щитов казались мне незавершенными лицами каких-то рыцарей. Попутно читал "Робинзона Крузо" с иллюстрациями Жана Гранвиля. Срисовывал карандашом открытки с картин передвижников. Помню, сделал "Порожняков" Прянишников, где никак не мог взять в толк, что это за зверь роется в снегу, мало похожий на собаку. Но фигура нищего, съезжающегося от холода студента вызвала у меня живое чувство сожаления. Такие же чувства вызвали у меня старик со старухой с картины Васнецова "С квартиры на квартиру".

Осмысливая свой путь в искусстве, вижу, что сообразно моим ранним впечатлениям детства я не мог быть модернистским художником. Уж очень много реализма прошло перед моими детскими глазами и запало в душу. Дружья и знакомые моей семьи, желая поощрить мои занятия живописью, дарили часто книги по искусству. Одной из первых был серый в твердой обложке каталог из замечательной серии тех годов "Русская живопись в музеях РСФСР" с чудесными картинками, с которым я испытывал крепкую привязанность. Я любовался пастозностью мазков Репина, лихостью Серова, изобретательностью Жуковского, смелостью Машкова и Кончаловского. Самыми любимыми были Серов и Левитан. Крамской казался суховатым и скучным. Брюллов поражал чистотой техники и силой рисунка. Вскоре начались мои самостоятельные походы в одесские музеи. Моим любимым местом, моей "молевой" был маленький зальчик Серова и Врубеля в картинной галерее.

Но возвращаясь к сестре и ее появлению в нашей квартире, которого я, признаться, с нетерпением ожидал. Я мечтал, что, наконец, появится кто-то по возрасту младше, и это даст мне удовольствие покровительственно руководить. Как я ошибался! Об осоях инога пола я судил в основном по маме и двум бабушкам, для которых я был главным любимцем. О, как я ошибался в женщинах! Очень скоро начались уроки житейской мудрости, которые, впрочем, продолжаются и сейчас, пятьдесят восемь лет спустя. Хотя вряд ли найдется столь любящая сестра у кого-нибудь еще. Мне, по крайней мере, так кажется сегодня, за что я, недостойный, ей вечно благодарен.

Есть хорошая еврейская поговорка: "a sok — a shkarpetke", что в переводе с идиш звучит, как "чулок — нет — носок". "Майский" период начался с того, что я перестал быть центром Вселенной, и даже мои выдающиеся болезни перестали давать мне весь комплекс бенифитов. Зато стало чуть-чуть свободнее в плане ответственности за свои дела — на меня стали меньше обращать внимание и давить.

Постепенно я сам перешел в разряд помощников: глядел пеленки, ходил гулять с коляской вдоль Полицейской улицы, таскал вещи во время походов мамы и Майи в поликлинику. Благо, домашние уроки занимали непродолжительное время. Я с легкостью заучивал поэзию, пользуясь методом последовательного повтора, который считал своим изобретением. Любил все науки одинаково, но меньше всего арифметику, может быть, из-за грубости "Ефима". Короче, школьные годы вспоминаются как приятное времяпрепровождение. К тому же можно было отвести душу в художественной школе по вечерам. Там были новые знакомые, запах красок, другая жизнь, недоступная моим одноклассникам и делавшая меня исключением, коим я привык себя считать.

Где-то в конце 1958 года отец перевез нас в новую квартиру, она находилась в надстройке старого дома № 93 на Островидова, где я и прожил до отъезда в Ленинград.

За год до этого переезда я, теперь уже серьезно, заболел мононуклеозом. За мою жизнь боялись, меня таскали к лучшему гематологам города Ломко и Крауцфельд, папа даже свозил меня в Москву к ведущему специалисту с мировым именем профессору Кассирскому. Тот сказал, что мне нельзя больше болеть ангиной, и тогда все будет в порядке, я буду нормально жить. С тех пор я больше не болел ангиной. Точка. Вот уже пятьдесят два года.

К четырнадцати годам встал вопрос, как мне жить дальше, где учиться. Моя бабушка Миля, Эмилия Павловна Гуревич, педагог игры на фортепиано, договорилась о встрече с Петром Афанасьевичем Злочевским. Он был главным художником Одесского театра оперы и балета, и его дочь брала у бабушки уроки фортепианной игры. Собрали мы с отцом мои рисунки, сделанные дома и в художественной школе, и отправились в начало улицы Чкалова, где жили и работали одесские художники. Незадолго до этого события я, сидя на нашем длинном балконе на Островидова, сделал работу с видом Успенского собора, прозрачную весеннюю акварель, несколько суховатую, как я оценил бы ее сейчас, но с чувством поэтическим, тонким.

Мэтру Злочевскому, вид которого напоминал о запорожской вольнице, не хватало только оселедда и красного кушака с саблей, именно эта акварель и понравилась. "Есть божья искра в рисунке", — заключил он. И послал нас на два этажа ниже, где жил его бывший декан, а в те годы — прекрасный педагог художественного училища Николай Артемович Павлюк. С именем этого человека в моей биографии будет связано много событий, в конце концов, выведших меня на путь искусства живописи. Но об этом — после.

К лету 1961 года с помощью Н.А. Павлюка я определился в своем намерении учиться в Одесском художественном училище, и старик прирешил ко мне своего лучшего на ту пору ученика — Витю Лезникова. Это был очень симпатичный, спортивного сложения, молодой парень с приятным грассированием в голосе и со щербинкой в зубах, что придавало его улыбке неотразимое обаяние (Виктор Борисович Лезников в девятностые годы теперь уже прошлого века был директором ОГХУ). Забегая вперед, скажу, что вместе со мной поступила в училище в тот год и девушка, в которую он был влюблен впоследствии, Таня Подхватилева. Но что-то у них не получилось в дальнейшем, к моему сожалению, — хороши они были оба человека. И так, в лето 1961 года, живя на даче в Лютсдорфе (16-я станция Большого Фонтана), я начал подготовку к поступлению. Мы с Витей писали акварели, в основном, как мне помнится, виноградные листья и лозу. Нужно было прозрачно и свежо изобразить свет и цвет зеленых зарослей. Редкими наездами в Лютсдорф Витя прививал мне основные понятия живописи: свет, тень, рефлекс...

Так как я все лето интенсивно занимался рисунком и живописью, мне не стоило особого труда поступить в августе в ОГХУ, чем я несказанно обрадовал моих учителей Павлюка и Злочевского и всю мою семью.

Детство, беззаботное отрочество закончились, плавно перейдя в бесшабашную юность. Началась совсем другая жизнь. Появились новые замечательные друзья. С некоторыми из них судьба мне дарит теплую дружбу и до сих пор.

Началась жизнь, полная "поражений и побед", полная вызовов времени и радостей от участия в процессе, в котором не всем везет участвовать. И на путях которого, полных борьбы за себя, за свое место в искусстве и за свои идеалы в нем, мужала душа и открывались абсолютно замечательные истины.

"Когда б я знал, что так бывает..." хочется иногда заметить вслед за Борисом Пастернаком. Но тут же вспоминаю другие чудесные строки другого гения поэзии Валерия Брюсова: "Юноша бледный со взором горящим...". И все снова становится на свои места, и я снова говорю себе словами Станиславского: "Любите искусство в себе, а не себя в искусстве". И я беру кисть и становлюсь к холсту.

И... дорога уходит вдаль.